По-видимому, мы никогда не разгадаем тайну ослепительной болдинской вспышки пушкинского гения. Но она будет вечно притягивать мысль, и вечно будет чудиться здесь одна из загадок русской культуры, заключенная в ее способности к таким гигантским и почти молниеносным всплескам творческой энергии. Только безмерное духовное богатство, только безграничные накопления великой души могут быть исторгнуты так, как бы в единый миг, как бы невольно, подобно тому, как исторгаются вдруг потоки огнедышащей лавы, таившиеся до времени в, казалось бы, остывших недрах вулкана. И в священном трепете и смятении мы останавливаемся перед завораживающим зрелищем этого духовного пламени, вырвавшегося вдруг на простор. Какие тайные силы освободили эту огненную стихию? Почему в глуши, на переломе судьбы, в преддверии грозных ее потрясений, охваченная тревогой пушкинская мысль летит в Болдине так широко и свободно, летит над мирами, обозревая их как бы с надзвездной высоты?

Что нужно вообще творческой душе художника? Она часто безмолвствует посреди стремительного течения жизни, кипения политических умов, посреди социальных распрей, сметающих общественное спокойствие, безмолвствует тогда, когда все могло бы ускорить ее внутренний пульс. И она бодрствует, изливая вокруг свою жизненную силу, порою в самые глухие эпохи, когда общество спит беспробудным сном и когда перекрыты пути к духовной свободе. Что это? Лишь капризы творческого гения или правда в том, что ему необходимы стабильные формы жизни, хотя порою они и подернуты ржавчиной разложения, необходима традиция, хоть иногда она и несет в себе угрозу окостенения. И то и другое не страшно ему: он сотрет ржавчину и гниль закоснения, он

---

* Статья написана для газеты «Болдинский вестник» в мае 1990 года.

возьмет на себя духовную работу всего общества и станет будить его от духовного сна. Лишь одно губительно для художника: общественный хаос, всеобщий разгул политических страстей, циничное презрение к традиции, укоренившееся в жизни.

Пушкин, порываясь в Болдино, писал о необходимости душевного спокойствия, «без которого ничего не произведешь». Мы впали бы в заблуждение, заключив, что спокойствие было предпосылкою болдинского творчества, великой тревогой порождено оно, тревогой о мире и о собственной судьбе. И все-таки болдинское спокойствие – не иллюзия: оно снизошло к Пушкину в тот момент, когда мысль его вырвалась на просторы творчества, ибо творчество и есть один из способов обретения душевного равновесия и свободы, быть может, самый плодоносный и человечный. Пушкин обрел в Болдине такую полноту свободы, которую никогда не способны привнести извне никакие самые благообразные формы общественной жизни, от которых, к несчастью, всегда была слишком далека Россия. В глубине этой свободы, быть может, таилось терпкое ощущение горечи, но это лишь оттого, что всякая безусловная творческая свобода неразлучна с одиночеством и печалью.

Плодоносным было прежде всего приобщение пушкинского духа к болдинскому миру, к природным основам бытия, к этому круговращению родственных и милых форм деревенского российского быта, нераздельно слитых с дыханием природы. Когда в гениальной «Осени» Пушкин восклицает: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь!», то это пробуждение жизнелюбия, без которого немыслимо творчество, естественно связывается с торжественно-бодрой поступью русской осени. Естественный порядок бытия, выверенный по часам природы, нераздельно слившийся с существованием русского крестьянина, умиротворяющая череда осенних перемен, когда жизнь природы напоминает о себе каждодневно множеством примет, отрадных для сердца, ощущение бодрости и молодой силы, играющей в крови, пересиливающее тревогу, – таков жизненный фон болдинского творчества, соприродный глубинным духовным пристрастиям русского гения.

Когда в 1823 году, словно бы гонимый демоном беспокойства, Петр Яковлевич Чаадаев метался по Европе, странствуя из одного города в другой, всякий раз, когда мысль его оглядывалась на Россию, к ощущению ностальгии и любви примешивалась тоскливая память о русской деревне. Все чудился ему старый барский дом, покой которого едва освещает трепетное пламя свечи, убийственная скука и заточение зимних вечеров, «когда стужа страшная, ветер дует и бегают тараканы». Этого страха перед скудостью и однообразием деревенского существования не знала душа Пушкина. За кажущимся однообразием ей виделась упорядоченность бытия, распахнутого в бесконечно многообразный мир природы.

Пушкину чужды были аскетические наклонности добровольного анахорета. Его привлекали блеск и пестрота столичного быта, а еще больше, разумеется, прелесть нечаянно вспыхивающей беседы, в которой ярко сверкала его стремительная мысль. Ему нужно было соприкасание с живой, только что вспыхнувшей мыслью собеседника, эти драгоценные искры ума, высекаемые в таких соприкасаниях. Как воздух необходимы были ему напор и кипение на глазах рождающейся мысли. Но все-таки не нужно забывать, что все лучшее, что было создано им, было создано в сосредоточенном уединении, и это было, прежде всего, деревенское уединение, приобщавшее к природе и к Отчизне.

В этом вечно преследовавшем пушкинскую мысль стремлении «в обитель дальнюю трудов и чистых нег» какой животрепещущий урок для сегодняшнего литературного мышления, порой истощающего силы в драматическом ратоборстве, в безысходных распрях, коварство которых в том, что в них неразличимо сливаются принципиальное и суетное. Уж не наступают ли те времена, о которых пророчествовал Ф.М. Достоевский, с ужасом предвидевший день, когда литература перевоплотится в прессу. Остановиться бы и вспомнить пушкинский завет: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво».

Болдино в творчестве Пушкина стало для истории русской культуры символом высочайшей сосредоточенности художественной мысли, освобожденной «от суетных оков», символом ее животворного прикосновения к национально-природным основам бытия, символом свободы, которую по какой-то роковой исторической болезни нашего ума мы ищем лишь за пределами нашего «я», между тем как она обретается в конечном счете в глубинах нашего духа.